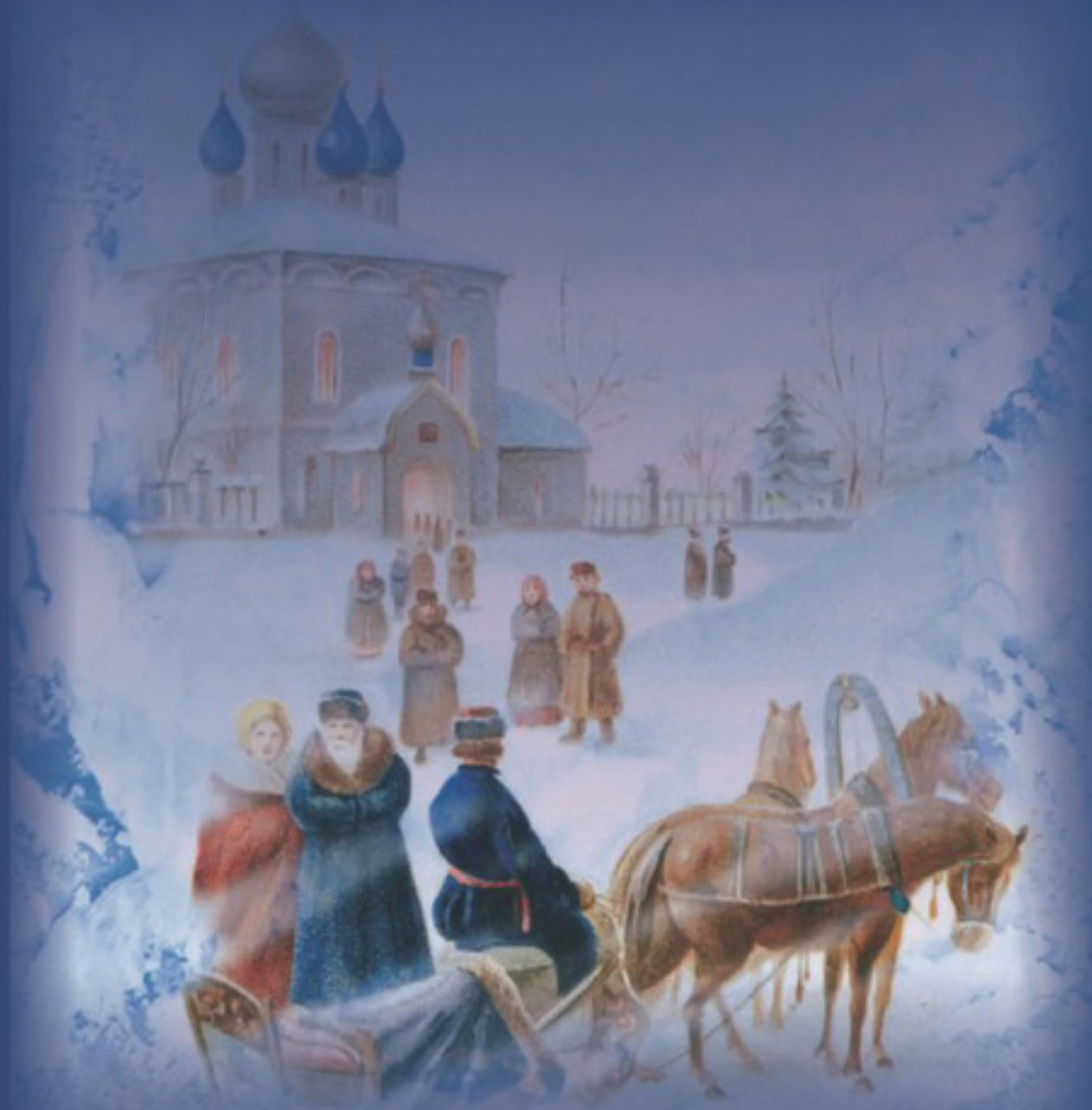


\* Б И Б Л И О Т Е К А С Е М Е Й Н О Г О Р О М А Н А \*

Нина Нефёдова

В стране  
моего  
детства



Библиотека семейного романа

Нина Нефедова

**В стране моего детства**

МОФ «Родное пепелище»

2012

УДК 82-31

ББК 84 (2 Рос=Рус) 6 - 4

## **Нефедова Н. В.**

В стране моего детства / Н. В. Нефедова — МОФ «Родное пепелище», 2012 — (Библиотека семейного романа)

ISBN 978-5-98948-044-9

Нефедова (Лабутина) Нина Васильевна (1906–1996 годы) – родилась и выросла на Урале в семье сельских учителей. Имея два высших образования (биологическое и филологическое), она отдала предпочтение занятиям литературой. В 1966 году в издательстве «Просвещение» вышла ее книга «Дневник матери» (опыт воспитания в семье пятерых детей). К сожалению, в последующие годы болезнь мужа (профессора, доктора сельскохозяйственных наук), заботы о членах многочисленного семейства, помощь внукам (9 чел.), а позднее и правнукам (12 чел.) не давали возможности систематически отдаваться литературному труду. Прекрасная рассказчица, которую заслушивались и дети и внуки, знакомые и друзья семьи, Нина Васильевна по настойчивой просьбе детей стала записывать свои воспоминания о пережитом. А пережила она немало за свою долгую, трудную, но счастливую жизнь. Годы детства – одни из самых светлых страниц этой книги.

УДК 82-31

ББК 84 (2 Рос=Рус) 6 - 4

ISBN 978-5-98948-044-9

© Нефедова Н. В., 2012

© МОФ «Родное пепелище», 2012

## Содержание

Дорога в Павловский	6
Глава 1. Отчий дом	9
Глава 2. Мой дед	10
Глава 3. Бабушки	15
Глава 4. Родители	28
Конец ознакомительного фрагмента.	29

# **Нина Нефёдова**

## **В стране моего детства**

Допущено к распространению Издательским Советом Русской Православной Церкви  
*Книга Лауреата Всероссийского конкурса современной прозы имени И. С. Шмелёва*

© МОФ «Родное пепелище»

© С. Н. Хмелёва – наследница

## Дорога в Павловский (вместо предисловия)

Поселок городского типа Павловский в Пермской области расположен на берегу правого притока Камы реки Очер в двадцати двух километрах от пристани Таборы. Эти скудные сведения о стране моего детства сообщает «Большая Советская Энциклопедия», но они, разумеется, ни в коей мере не отражают прелести и поэтичности мест, где я родилась и выросла.

Взять те же Таборы. Маленькая пристань на реке Каме, но сколько поэзии уже в самом названии. Вслушайтесь: Та-а-бо-ры... Не правда ли, вашему взору так и представляется темная августовская ночь, шатры, костер, старый цыган, раскуривающий трубку, куча черномазых, голопузых ребятишек, цыганка, помешивающая в котле варево? Если в ближайшем от вас шатре вспыхнет спичка, сквозь тонкий ситцевый полог видно, что в нем, закинув за голову руки, лежит цыган с неизменной трубкой во рту, а возле него сидит молодая жена и кормит грудью ребенка.

Признаюсь, эта картина плод моего воображения, возможно, так когда-то и было, ведь не случайно же даются названия. В действительности же теперь, когда вы ночью сходите с парохода (а он в Таборы всегда приходит ночью), вас обступает крутой обрывистый берег, на котором далеко вверху, на фоне предрассветного неба вырисовываются очертания елей. Поселок дальше, в двух километрах от пристани. Слышно только, как на берегу, в темноте лошади, хрумкая, жуют овес, да люди негромко переговариваются.

Теперь предстоит непростая задача: найти подводу. Старик-ямщик, с которым удастся столкнуться, отказывается тотчас же трогаться в путь, ему боязно одному ехать ночью через лес. Он хочет, во что бы то ни стало, подождать товарищей.

– Оно, паря, не слышать, не балуют шибко-то, ну а сообщача-то, все же веселея ехать, – говорит он.

Наконец, составляется обоз из трех-четырёх подвод, и мы трогаемся в путь.

Дорога идет по хорошо укатанному галечному тракту, по обе стороны его стоит стеной дремучий бор. Жутковато ехать через него в темноте, недаром мой возница опасался ехать один. Вспоминается случай, рассказанный мамой. Она ехала из Табор, как вдруг в коробке, под козлами обнаружила топор. Это повергло ее в ужас, и она решила незаметно подгрести топор к себе. Старик-ямщик, не обнаружив топора на месте, в свою очередь струхнул и, отыскав топор, положил его на прежнее место. Так они и ехали всю дорогу, тягая топор туда-сюда, пока не миновали опасную зону. Мама потом долго со смехом вспоминала этот случай и слова старика: «А кто тебя, милка, знает... Береженого Бог бережет!», сказанные им на прощанье.

Но вот лес кончился, и дорога пошла полем. По левую сторону от нее осталась стоять красавица школа, она сложена из белого кирпича, железная крыша ее свежепокрашена зеленой краской. В этой школе я проучилась четыре счастливых года. Школа стоит за околицей Одуя (так называется поселок, живописно раскинувшийся на другом берегу пруда и соединенный с Павловским длинной плотиной). Одуй, как и положено деревне, отделен от полей изгородью с воротами.

В нетерпении я соскакиваю с подводы и открываю ворота сама, не ожидая, пока возница слезет с козел. Будь это днем, у ворот обязательно бы дежурили ребятишки, считавшие своей привилегией открывать и закрывать ворота, за что приезжавшие бросали им сладости: пряники и конфеты. Так и сидели они, бывало, стайкой у ворот, взимая своеобразную дань с проезжавших. Теперь не то. Разве наоткрываешься, когда по тракту проходят сотни машин в день. Да и надобность в этих воротах отпала.

Вот и Одуй позади. С небольшой горки открывается великолепный вид на поселок Павловский. Он весь еще в утренней дымке. Красные, зеленые крыши домов (обязательно железные!) утопают в зелени садов. Это не плодовые сады. Яблони и груши пока еще робко пытаются культивировать отдельные любители-садоводы, но зато каждый житель поселка считает своим долгом иметь при доме липу, черемуху, рябину, сирень в палисаднике с кустами крыжовника и заросли смородины и малины в огороде за домом.

Дорога теперь идет по плотине, соединяющей Павловский с Одуем. Справа раскинулся пруд, окаймленный с одной стороны сосновым бором, а со стороны поселка ветлами, низко клонящимися к воде. Вода кажется розовой, плотной, маслянистой, легкий парок поднимается над нею. Всплески воды и круги, расходящиеся на ее поверхности, заставляют биться сердце рыболова, ведь это рыба «играет». Как замороженные сидят рыбаки в лодках, привязав их к кольшкам, раскинув свои удилища в ожидании удачи. Между тем всходит солнце. Тяжелое, весомое, оно большим желтком повисает над горизонтом.

Слева под плотиной туман гуще, здесь низина, на много километров протянулись торфяные болота. Но под самой плотиной гулко ухает чудище – Павловский косный завод.

Здесь куют косы-литовки. Они славятся по ту и другую стороны Урала. Под взмахом их падает пахучая стена Ивановского разнотравья. Никнет скудная растительность Барабинской степи.

Миновав плотину, въезжаем на базарную площадь, где выстроились рядом две церкви: старая маленькая, почти незаметная в гуще разросшихся в церковной ограде кустов и деревьев, и новая, кирпичной кладки, победно поднявшая высокий купол с золоченым крестом к самым облакам. Но нет возле этой церкви ни кустика, ни деревца и кажется, что и самой ей стоять на этом пустыре неуютно. Впрочем, не так уж долго она и стояла. В 1917 году сдернули с нее позолоченные кресты, разломали купола, но саму церковь, сколько ни бились, не могли разобрать на кирпичики, так прочно они были сцементированы, к тому же сложена была церковь из добротного, прокаленного до синевы кирпича. Так и осталось стоять на площади уродливое сооружение. Использовалось оно вначале, как овощехранилище Райпотребсоюза, а с открытием в поселке ремесленного училища отдали его под мастерскую для вихрастых, озорных пацанов. С тех пор доносится из церкви не церковное пение и речитативы священнослужителей, а дробный перестук молотков и визг напильников. В обеденный перерыв выстраивается возле нее шеренга ремесленников в измазанных куртках и бодро, под песню, направляется в столовую.

На базарную площадь выходят: торговый ряд, поповский дом – серое унылое строение, двухэтажный дом купчихи Субботиной, в нижнем этаже которого лавка с промышленными товарами, красивый дом управляющего завода с большим садом, спускающимся к пруду, и серое двухэтажное же здание волостного правления, окнами своими глядящее на пруд. Каждое из этих зданий заслуживает того, чтобы рассказать о нем, а главное, о его обитателях подробнее, что и будет сделано впоследствии.

На базарной площади только в субботу людно, когда съезжаются из окрестных деревень крестьяне, чтобы купить, продать, послушать новости, узнать, что творится на белом свете. Уж так повелось издавна: базарный день в Павловском – суббота, а в Очере, что в девяти верстах, торжище – в воскресенье.

Наш дом на широкой зеленой улице, полого взбегающей в гору. За этой горой ежедневно куда-то проваливалось солнце. Чернела на горе одинокая скамеечка, особенно отчетливо видимая в часы заката. Вечерами на горе девушки водили хороводы. Взявшись за руки, они медленно шли по кругу в одну сторону, плавно поворачивались и шли в другую. Казалось, они не шли, а плыли по воздуху, заунывно, протяжно напевая: «Как по-о мо-о-рю, к-а-к по-о мо-о-рю...» Тепло было сидеть в бабушкиных коленях и слушать песню про «белую лебедушку».

Потом засыпать под тягучую монотонную песню и не слышать, как уносят тебя в дом и укладывают в постель.

## Глава 1. Отчий дом

Поскольку наш дом стоял на центральной улице, то и называлась она Павловской, впоследствии ее, конечно, переименовали, и стала она Ленинской. От базарной площади дом стоит третьим с угла. Он большой, двухэтажный, с палисадником, где растут кусты сирени и крыжовника, и с садом, в котором привольно, точно в лесу, вымахали клен, липа, береза и черемуха. Росла в нем и рябина, горькие вяжущие ягоды которой нам, детям, очень были по душе, и мы не ждали, когда побитые морозом они станут слаще. Но дед срубил ее. Деревья так разрослись, что в комнатах, которые выходили окнами в сад, летом всегда был полумрак. Дед несколько раз заносил, было, руку с топором: «Надо укоротить маненько...» Но мама не разрешала. Ей нравилось, когда с весны сад заполнялся щебетом и гомоном птиц. Первыми прилетали скворцы, и мы, дети, любили наблюдать, как деловито они осваивали скворечники.

Ну, и домище же отгрохал дедушка! В его положении потомственного рабочего это было, наверное, нелегко. Но дед был честолюбив. Если кругом стоят такие солидные дома, как той же купчихи Субботиной, или дом Орехова, помощника управляющего заводом, то чем он хуже этих домовладельцев? Слава Богу, руки-ноги при нем, силушки не занимать, да и помощников эвон сколько: два сына, две снохи, девок с мужьями четверо. Окромя того, место обязывает, не ставить же в центре поселка какую-то завалюшку!

Но, размахнувшись на большой дом, дед так и не смог полностью осилить его. Так не была сделана теплая лестница на второй этаж, а та, что вела из холодных сеней наверх, доставляла большие неудобства, особенно зимой. Выскакивая на нее из теплого помещения и по обыкновению забыв накинуть на себя хотя бы шалюшку, мы частенько простывали, кашляя «бухали», как в бочку, чем приводили маму в отчаяние.

Полы в доме, как не покрасили сразу, так потом покрасить и не собрались, хотя разговор о том, что надо бы покрасить полы, возникал часто. Более того, и краска для полов была уже куплена, но она так и простояла в чулане, пока не высохла. Больше всего от некрашенных полов страдали мы с сестрой Надей. Ведь каждую неделю нам приходилось мыть полы с дресвой, крупным песком, которую мы сами же получали, дробя горную породу. Мыть полы часто было необходимо, ибо при большой семье они быстро затаптывались. А что значило вымыть с дресвой пять комнат, кухню, сени вверху и внизу, лестницу? Одной воды сколько надо было натаскать, чтобы смыть эту самую дресву. Нет, не говорили мы дедушке спасибо за его некрашенные полы!

И наверху, и внизу сени были большие, к ним примыкали чуланчики, светелки, боковушки, которые по первоначальному замыслу деда должны были стать жилыми комнатами, но так и не стали по недосугу его. А между тем, сколько полезной площади они отнимали у обитателей дома! Словом, большой дом был не очень удобен для жилья. Но это был родной дом, и хотя прошло более сорока лет с тех пор, как я жила в нем, я помню каждую половичку, каждую ступеньку, каждую дощечку его. Все в нем знакомо мне до боли. И память эта дорога мне.

Обращаясь сейчас к воспоминаниям о детстве и юности в родном доме, я хочу отдать последний долг уважения и любви дорогим мне людям. Людям, которые жили в этом доме: трудились, радовались, любили, страдали, нередко заблуждались, но свято чтит заветы отцов. Людям, которые бережно относились к хлебу, называя его не иначе как «хлебушко», с почетом, как самого дорогого гостя, встречали в доме рабочего человека и, воспитывая детей, в свою очередь, завещали им уважение к труду и любовь к Родине. Есть хорошая песня: «С чего начинается Родина?» Она начинается с того заветного уголка, где ты родился, вырос и стал человеком. Для меня это родительский дом и сад, одинокая скамеечка, чернеющая на горе в часы заката, стена бора, окаймляющего пруд, вода в котором при восходе солнца кажется розовой, плотной, маслянистой.

## Глава 2. Мой дед

Свой рассказ я начну с деда, которого хороню помню, которого любила. Дед был потомственным рабочим. Его отец, рабочий старейшего Уральского завода, привел сына на завод, когда тому едва исполнилось десять лет. Был сначала дед учеником, потом подручным мастера, а потом и сам стал мастером, проработав на заводе почти полвека. Были у деда, как говорится, «золотые руки», это-то и губило его, по мнению бабки. За выполненную на стороне работу полагалось отблагодарить, деду подносили стаканчик, и постепенно он пристрастился к водочке. Выпив, начинал куражиться, а то, сидя на лежанке, откинув и в старости красивую голову, дребезжащим тенорком пел: «Цвели цветики, да поблекли-и-и...»

Бабка маленькая, сухонькая, властная с колючим взглядом зеленоватых глаз не любила в нем этой страсти к пению, особенно не любила, когда он начинал «складывать» песни и враждебно говорила:

– Ну, завел свой граммофон! На-ка, вот, подшей валенки!

Но как ни любил дед импровизировать, а в песне не укладывалась вся его жизнь, о которой ему хотелось поведать людям. А как рассказать о ней простыми обыкновенными словами, когда и расписаться-то он не умел и ставил вместо подписи крестик? Это непреодолимое желание рассказать о себе людям терзало его и мучило, и он точно вспружиненный вскакивал с лежанки и говорил нам:

– Девки! Да хоть вы опишите мою жизнь! Так мол и так, жил на свете Митрофан Егорович... Записывайте!

Полные готовности помочь деду, мы с сестрой вытаскивали из школьных сумок тетрадки, карандаши и начинали записывать.

– Так вот значит так, девки. Было мне годков пять от роду, как я впервые надел штаны...

– А в чем же ты ходил, дедушка? – отрываясь от письма, спрашивала я.

– А в долгой рубахе бегал! А тут как-то раз мать пошла на базар, видит на дороге заповон лежит, фартук, значит, по-вашему. Она, конечно дело, его подняла, спросила: «Чей?» Хозяин не нашелся, она принесла его домой, да и сшила мне из него штаны. То-то я рад был им! А то на улице ребята уже задразнили меня: «Бесштанная сила» да «Бесштанная сила». Бывало, кричат: «Эй, бесштанная сила! Айда, играть в бабки!». Особливо старался соседский мальчишка Минька. Отец его скотом промышлял: купит на стороне корову подешевле, забьет ее и продает мясо на базаре, у него и ларек там был. Справно жили, не то, что мы, голодьба. У отца нас было семеро, до новины хлебушка никогда не хватало. Бывало лето больше на траве перебивались, огородишко, конечно дело, поддерживал. А какой скусный хлебушек-то был! Замесит мать квашню из мучки первого помола, вынет из печи караваи, они лежат розовые, румяные с присыпанной мукой корочкой, отдыхают. А дух-то какой от них в избе стоит! Маленько погодя, мать отрежет нам, ребятам, по бо-ль-шому куску, ломтю: «Ешьте на здоровье!» А мы круто посолим хлебушко солью да в огород, к луковой грядке, нащиплем зеленого пера, вот наш и обед. И ничего, здоровые были... А Минька тот, хоть и на мясе да на всяких разносолах вырос, чахлый был. Помню, однажды сели мы с ним играть в карты, лет по десяти нам уже было. Уговор промеж нас был такой: кто проиграет – получай теребачку. Ну, Минька и проиграл, подставил мне голову, а я раз за волосья! Дернул, а в руке у меня клоч волос Минькиных так и остался... Глянул он на этот клоч, да как заревет благим матом. Матка его выскочила, тетка Наталья... Мне бы деру дать, а я сижу, как ошалелый: уж больно легко волосы-то выдрались... Как зачала она меня за волосья таскать: «Ах ты, варнак! Ах ты, ушкуйник этакий! Я на тебя, разбойника, найду управу!». Еле-еле я вырвался. Моим-то волосьям ничего не сделалось, вон и сейчас они у меня, слава Богу, а тогда и вовсе шапкой стояли, из кольца в кольцо вились... А

у Миньки волосенки были реденькие, чахленькие. Плешь долго у него не зарастала, и Минька все прятал ее, напуская волосы с макушки.

Дед замолкал, клонил голову на грудь и храпел.

В следующий раз, выпив, дедушка вновь начинал вспоминать свою «распроклятую» жизнь, снова тоска томила его, хотелось высказаться, поведать людям, какой горькой была его жизнь, и снова с тоской просил нас: «Девки! Да хоть вы опишите мою жизнь!». В такие минуты мне казалось, что дедушка в душе был писателем, и кто знает, умей он писать и сложишь его жизнь иначе, он, может быть, и стал бы им. А сейчас он был беспомощен и потому обращался к нам.

Мы открывали новую тетрадку (прежняя куда-то к этому времени уже запропастилась!), и дед снова диктовал нам про запон, из которого мать сшила ему первые штаны, про теребачку. Конечно, у деда нашлось бы что рассказать и кроме этих эпизодов, жизнь он прожил долгую, и немало в ней было интересного, но дед справедливо считал, что жизнеописание должно вестись с «измальства», а поскольку первая тетрадка утеряна, то начинай сначала. Так мы и не сдвинулись дальше «запона» и «теребачки».

Вообще-то дед много интересного рассказывал о своей жизни. Увлеченные, мы могли целыми вечерами слушать его рассказы. И даже пытались записывать их. Но странное дело, живые рассказы деда на бумаге теряли всю свою прелесть, становились похожими на классные вымученные сочинения. Вся беда была в том, что мы не знали, как записывать, не умели передать тот сочный, яркий колорит, которым отличалась устная речь деда. Это было очень обидно.

Отец, который не выпил в жизни и рюмки вина даже в гостях, не мог видеть дедушку пьяным. (А может быть, он потому и не пил, что на примере дедушки видел, как неприятен и непригляден бывает человек в пьяном кураже). Так вот, когда дед приползал домой чуть не на четвереньках (благо винная лавка или «казенка», как ее именовали в просторечии, была близко), отец сгребал нас в охапку и уносил наверх, где были наши комнаты (внизу мы только обедали), а затем уходил вниз к дедушке и трогательно ухаживал за ним. Отец потому уводил нас наверх, что боялся, как бы не коснулось нашего уха какое-нибудь бранное слово, срывающееся с уст пьяного деда. Вообще нас оберегали от брани. Но однажды бабушка Васса Симоновна провинилась. Рассказывала она нам русскую народную сказку об Ивашечке и Бабе Яге. И повествуя о том, как Баба Яга каталась на косточках собственной дочери, думая, что это косточки изжаренного Ивашечки, бабушка злорадно приговаривала:

– Поваляйся, курва! Покатайся, курва!

И в этот момент в комнату вошел отец и буквально остолбенел:

– Ты все-таки думай, кому рассказываешь! – сказал он резко, чего никогда не позволял себе в отношении матери.

– Да, ведь я, Вася, как в народе сказывают, – виновато оправдывалась бабушка.

А нам с сестрой очень понравилось это слово, было в нем что-то круглое, ласковое. И мы иногда в ссорах шепотком обменивались им: «Курва!», «Ты сама курва!». Слово «дура» нам казалось куда более неприличным.

Когда я вышла замуж, мой муж, тоже студент университета, продолжал оберегать мой слух от неприличных слов. Если мы шли с ним отдавать в починку мои туфли, он не разрешал мне подходить на рынке к сапожному ряду:

– Ты что, не знаешь выражения «ругается как сапожник»?

Неудивительно, что я не знала и не понимала значения многих ругательств. Однажды, мои подружки по университету, филологички, посетовали на то, как много непристойных слов им приходится слышать на семинарах по фольклору.

– Представляешь, читаем тексты, где, то и дело встречается слово на букву «б...»

– А что это за слово?

– Не придурайся! Как будто ты не знаешь!

Но я и верно не знала. На всякий случай решила осведомиться у мужа.

– Но, но! Смотри у меня, – грозно прикрикнул на меня муж. Пристыженная, я уткнулась в книжку. А теперь этим словом запросто обмениваются между собой девицы.

Пристрастие деда к водочке чуть было не кончилось для него трагически. Пьяный он свалился в подпол волостного правления, куда отправился выяснять отношения с «начальством». Дело было поздно вечером, никакого начальства на месте уже не было. Была лишь одна сторожика, да и та куда-то вышла, оставив крышку подполья открытой. Дед сделал в темноте шаг, другой и... полетел вниз. Услышав его стоны и брань, сторожика кинулась звать людей. Они вытащили деда наверх и отволокли домой.

На деда было страшно смотреть: лицо его было в кровоподтеках, левая рука сломана, а на правой – от кисти до локтя зияла ссадина. Сломанную руку фельдшер уложил в гипс, а вот с правой рукой дело обстояло похуже: рука распухла, посинела, началась гангрена или, как раньше говорили, «антонов огонь». Срочно деда повезли в земскую больницу в Очер.

– Резать! – сказал доктор, ощупывая пальцами почерневшую отекающую руку деда. – Готовьте к операции! – распорядился он.

Услышав слово «операция», дед подпрыгнул:

– Не дамся! Лучше дома подожду! – и направился к дверям кабинета.

Как ни уговаривал его отец послушаться доктора, дед стоял на своем. Привезли его еле живого. Кто-то посоветовал ставить на больную руку компрессы с «кобьяком». Я до сих пор не знаю, что это был за «кобьяк». Думаю, что это было искаженное слово «коньяк». С большим трудом достали этот спасительный «кобьяк» (не следует забывать, что дело было в году семнадцатом) и стали делать компрессы. И что поразительно, рана, до того наполненная гноем, стала очищаться, кожа на руке – бледнеть, отек спадать. Спала и температура: градусник теперь не показывал уже за 39–40 градусов, как было еще неделю тому назад, а температура была почти нормальной. Дед радовался выздоровлению, а еще больше тому, что отстоял руку, и говорил удовлетворенно:

– То-то же! А то – резать! Оттяпали бы мне руку, и живи калекой. Одной-то рукой и узла не завяжешь...

Эпизод с падением в подпол, чуть было не закончившийся столь трагически, имел еще одно последствие: дед бросил пить. То есть не то, чтобы совсем отказался от случая пропустить рюмочку, но никогда больше не напивался.

– Вот так-то дураков и надо учить! – с удовлетворением говорила бабушка Васса Симоновна, немало претерпевшая от пристрастия мужа к водочке.

– Молчи, старуха! Ты в этом деле ничего не понимаешь! Вот Анята меня понимает...

И верно. Мама, зная, что свекор иной раз и хотел бы перед обедом пропустить рюмочку, но стесняется, сама ставила перед ним эту рюмочку, и дед был очень признателен ей за это. Вообще, он маму любил и уважал, считая, что сыну Василию повезло с женой, а им со старухой с невесткой.

Выпив за обедом рюмочку и плотно поев щей и каши, дед склонял голову на грудь и погружался в сон. На носу его повисала светлая капля. Мы, дети, глядя на деда, начинали хихикать, подталкивать друг друга локтями. Отец молча, неодобрительно оглянув нас, вставал из-за стола и, подойдя к деду, вытирал ему нос своим платком. Так же, молча, он садился за стол и продолжал есть. Получив этот молчаливый урок уважения к старости, мы пристыжено углублялись в свои тарелки, не смея поднять глаз на отца.

Очнувшись от сна, дед оторопело оглядывал сидящих за столом и говорил, разглаживая усы:

– Кажись, вздремнул маненько...

– Ничего, батя. Иди, приляг...

Отец брал старика под руку и отводил в спальню на кровать.

Дед, как и большинство рабочих Павловского завода, имел земельный надел. Где-нибудь за семь-восемь километров от поселка сеялась полоска ржи, овса, ячменя, а то и гречихи. Не забывались и посеы гороха, который куда как хорош был в горошнице или в гороховом киселе с льняным маслом. А чтобы иметь это масло сеялся и лен. Его дергали, вязали в снопы, сушили, колотили, отделяя головки с семенами, из которых на маслобойке жали масло. Пройдя через добрый десяток операций, расстилался лен на полянке холстами для отбелики.

Вообще хозяйство было натуральным. Во дворе стояли лошадь, корова (иногда две), были куры, гуси, не говоря уже о поросенке, который откармливался и резался к Рождеству.

Семья деда росла. Один за другим рождались дети, подрастали, рабочих рук становилось все больше, но росли и расходы по семье. И дед решил построить кирпичный завод, чтобы был в доме какой-никакой «прибыток». Но кирпичный завод это, пожалуй, слишком громко сказано. Дедушкиным заводом был просто-напросто сарай – дощатое строение на окраине поселка, где у деда был участок под картофелем. Такие участки под дополнительные огороды волею нарежала всем рабочим.

Участок деда располагался на высоком увале, где оказалась великолепная глина для выделки кирпича. Это-то обстоятельство и натолкнуло деда на мысль построить на картофельном поле кирпичный завод и снабжать кирпичом всю округу.

Сказано – сделано. Кирпич деда скоро прославился: он был прочен, не крошился, был легким и звонким после обжига. Со всех окрестных деревень к деду потянулись мужички на подводах:

– Митрофан Егорович! Сделай милость, отпусти сотенки две, печь надо перекласть, баба грозитя, пироги не буду затевать, пока не переложишь.

И дед отпускал. Более того, насколько я, будучи ребенком, уловила из разговоров взрослых, и церковь в поселке была сложена из дедова кирпича, а позднее и школа, что красуется на Одуе за околицей.

После революции, как я уже упоминала, церковь попытались, было, снести, но это оказалось нелегким делом. Сколько ни колотили ломами, кайлами, удалось свалить только колокольню.

Управлялся дед на «заводе» своим семейством, никакой наемной рабочей силы не было. Сыновья копали глину, подвозили воду, девки месили эту глину босыми ногами, а сам дед формировал кирпич на примитивном станочке и обжигал его. Для обжига были вырыты в увале три пещеры, выложенные кирпичом. И вот после того, как «сырец», сушившийся на полках в сарае был, по мнению деда, готов для обжига, его перетаскивали на тачках к печам, и дед колдовал над ним, переходя от печи к печи и поддерживая огонь в них до нужной температуры.

Мы, дети, любили в эти дни навещать деда. Кругом простиралось картофельное поле. Накопав кошель крупной розовой картошки (ну, и родилась она на этом глинистом увале!), мы подбегали к деду, радуясь встрече с ним. Он тоже был рад нам. В вывернутом наружу мехом полушубке, в валенках, в шапке (ночи к осени становились холодными, а обжиг дед проводил главным образом ночью) дед напоминал нам колдуна из сказок. Мы с пристрастием наблюдали, как он зарывал принесенную нами картошку в горячую золу какой-нибудь из печей, и с нетерпением ждали, когда же она испечется. Какая же вкусная была эта картошка из дедовой печи: белая, рассыпчатая, с серебряными блестками на изломе.

Со временем дело деда расширилось. Дочери уже не месили глину ногами, их труд заменила глиномешалка: железная цилиндрической формы бочка, внутри которой крутились лопасти, приводимые в движение лошадью, уныло ходившей по кругу. Да и рабочих рук прибавилось. Дочери повыходили замуж, зятевья тоже включились в дело.

Но с началом первой мировой войны дело заглохло. Сначала один зять, а потом и второй были призваны в действующую армию. Силы деда стали слабеть, и скоро он совсем прекратил производство кирпича. Но слава о его кирпиче еще долго жила окрест, и по-прежнему, деда

одолевали просьбами продать сотенку, другую. Теперь дед продавал уже тот кирпич, которым были выложены печи для обжига. Он особенно ценился мужичками: был на удивление звонкий и аж синий от опалившего его огня.

Бабушке жаль было этого кирпича:

– Хватит тебе его транжирить! Ведь задаром отдаешь! Потом хватимся, и свою печь перекласть будет нечем!

Она была права. Как-то вздумал дед переложить печь. А перекласть ее ему было запросто. Он то поворачивал ее целиком к окнам на улицу, то вдруг повернет ее передом во двор, совсем как в сказке. Печник он был отменный. Так вот, вздумал дед переложить печь, а кирпича-то и нет. Почесал дед в затылке, взял тачку и отправился поковыряться в старых печных завалах. Наскреб-таки. Поставил печь на сей раз поперек избы, разгородив ее, таким образом, на две половины. В одной оказалась большая кухня, в другой – спальня, где можно было ему и старухе спокойно отдохнуть, никому не мешая.

Когда мне в эвакуации пришлось перекладывать эту печь (за давностью лет она стала плохо греть, да и свод в ней рушился), я слезно вымолила у председателя артели кирпича. Он сжалился над солдаткой, дал кирпич, но он оказался предрянным, так и крошился в руках. Я еле привезла его к дому на двух попутных подводах от завода, что был в десяти километрах от поселка. Не раз вспоминала я дедушкин кирпич.

В последние годы дедушка жил в полном смысле слова «на покое». Дети повзростали, твердо стали на ноги, надобность продолжать работу на казенном заводе отпала, и хотя дед за свой почти полувековой труд «пенсии» не выслужил, все равно он не нуждался. Живя со старшим сыном Василием, нашим отцом, он охотно поддерживал все его новшества в хозяйстве, вроде распашки земли на болоте под огород или введения строгого рациона при кормлении домашнего скота. Одобрительно он отнесся и к затее сына организовать при доме слесарную мастерскую, где изготавливались бы молотилки, столь необходимые в сельском хозяйстве.

Вообще, он гордился своим старшим сыном. Гордился тем, что тот закончил учительскую семинарию, был инспектором земских училищ и уважаемым человеком не только в поселке, но и во всем земстве.

## Глава 3. Бабушки

У меня было две бабушки и один дед. Второго деда я совсем не знала. Он умер молодым, простудившись в проруби, куда попал вместе с лошадьёю, возвращаясь с «требы», был он сельским священником.

Павловская бабушка, Васса Симоновна, была матерью отца. Острожская, Анна Егоровна, приходилась бабушкой со стороны мамы.

Павловская бабушка маленькая, худенькая часто болела и запомнилась больше в постели. Была она со светлыми волосами, собранными на затылке в узелок, с бледно-голубыми глазами и правильным лицом, изрезанным морщинами. В молодости она, наверное, была недурна собой, но дети, тяжелая крестьянская работа, болезни (она страдала пороком сердца) рано состарили ее. К тому же и дед, смолоду любивший выпить и приволокнуться на стороне, доставил ей немало горя. Интересно бывало послушать разговор деда с бабкой. Они, точно соревнуясь, приводили в своей речи пословицы и поговорки. Дед скажет одну, бабушка в ответ другую. Попрекая деда за грехи молодости, бабушка с удовлетворением говорила:

– И верно в народе молвится, полюбовница ждет за углом, а жена-то за столом.

– Хватит тебе, старуха, один Бог без греха.

В ответ на это бабушка подхватывала:

– Грех-то с орех, да ядро-то с ведро! Но дед уже начинал сердиться и говорил:

– Двадцать лет не видел коровьего следу, а все молоком отрыгается... Но вообще-то в последние годы они жили в мире и согласии. Дед жалел бабушку и нередко говорил:

– Ты, старуха, лежи. Я сам растоплю печь и воды принесу.

Бабушка, благодарная деду за внимание, которым не была балована смолоду, точно в оправдание своей «лени» (как же она будет лежать, а старик воду таскать), плачущим голосом говорила:

– Ох, болят мои руки-ноженьки. А и чего ж им не болеть! Одного хлеба сколько перепекла на такую-то ораву. А огород, а скотина? Мало того, так и жать Васса, и лен дергать Васса. А со льном-то, о Господи! Какая была морока, пока его выдергаешь, выколотишь, вымочишь, расстелешь, снимешь, потреплешь, вычешешь, спрядешь, соткешь, холсты выбелишь, рубах нашьешь. Господи, твоя воля! и как только сил хватало на все!

– Ничего, старуха, зато сейчас живем – не тужим. Ребята выросли, спасибо им, помогают... Девки, они, конечно, отрезной ломоть, ну, а на сыновей грех нам обижаться. Да и жизнь теперь другая пошла. Зачем тебе холсты? Пошла в Сельпо, да и набрала, сколь хочешь, ситцу или сатину.

– Верно, дед, только уж наряжаться-то что-то неохота стало. Дважды в год лето не бывает.

– Хорош на девке шелк, коли в девке толк, – вздыхая, говорила бабушка. На лице ее так и застывало выражение горечи и обиды, губы ее всегда были сжаты, мы не видели, чтобы она улыбалась, глаза смотрели неласково и даже сердито, если она бывала недовольна нами.

Ее неизменной одеждой был фланелевый халат, с которым она не расставалась и ночью. Мучили бабушку кашель и жестокий ревматизм. Пальцы рук и ног были скрючены, синие набухшие вены переплетали их. Бабушка лечилась травами, пила можжевельник, настоящий на денатурате, в денатурате же держала ноги на раскаленной сковородке, натиралась черной редькой, но все это мало помогало. Прослышав однажды об адамовом корне, делавшем, якобы, чудеса, она жила мыслью, как бы достать его. Наконец, ей удалось купить его у травниц. Бабушка велела вытопить баню и, не ожидая, пока баня выстоится, натерлась адамовым корнем. Не прошло и десяти минут, как бабушка заметалась по дому:

– Ой, девки, скорее в баню! Ой, не могу! Ой, горю вся! Где туто-ка мыло было, мочалка?

Сунув ноги в галоши и подхватив узелок со сменой белья, бабушка кинулась в огород, в баню. Впечатление было такое, что она забыла о своих больных ногах, летела через гряды, как молоденькая.

– Ну, девонька, – рассказывала она потом своей подруге Николаевне, – я думала ума решусь. Скажи, как огнем палило всю. Я мыться, а он того злее. Будь он проклят этот адамов корень. Ну, не даром его адамовым зовут.

Наша павловская бабушка, Васса Симоновна, славилась тем, что любой вывих, любую грыжу могла вправить. Но больше она специализировалась по женским болезням. В сельском хозяйстве работа тяжелая, нередко женщины надрывались на ней, страдали загибами, перегибами, опущением матки. Вот тут-то бабушка и была незаменима, как лекарь. Какая-нибудь надорвавшаяся после родов молодка приезжала из дальней деревни и чуть не на коленях просила:

– Поправь, бабушка, сделай такую божескую милость, погибаю.

Бабушка отказывалась, ссылаясь на свои больные руки, они у нее и в самом деле болели, распухшие в суставах, не давали спать по ночам. Но просьбы молодки были так жалостливы, что бабка сдавалась. Она сползала с постели и уединялась с ней в столовой, где стоял деревянный, сколоченный еще дедом диван. Дверь в столовую плотно закрывалась, и оттуда лишь изредка доносились болезненные вздохи молодки, да приглушенный голос бабки:

– Расслабься, расслабься, милушка...

В особо трудных случаях, требующих повторных сеансов, молодка оставалась на несколько дней, живя у нас. В назначенный день муж приезжал за нею, привозил мзду за лечение. Иногда это был гусь или пара уток, а то и мешок зерна.

– Вот, прими, баушка, – говорил мужик, стаскивая с телеги дар, – век будем за тебя Бога молить.

– Да, ты бы лучше, чем Бога молить, поберег бабу, мыслимо ли это дело бабе сено метать, да еще вскрости после родов...

– Ладно, баушка, учту, – смущено говорил мужик, а бабушка продолжала наставлять:

– А ты, милка, не забывай, каждый вечер клади поклоны.

– Это перед иконой, что ли? – уже зубоскалил мужик. – Да она у меня неверующая.

– Не обязательно перед иконой. А вот встанешь на колени и нагнись, все равно как пол под кроватью моешь...

Не было ничего сверхъестественного в том, как лечила бабка. Ее методом был самый обыкновенный массаж. Иногда даже врачи посылали к ней своих пациенток, ведь в земской больнице не было ни кабинетов массажных, ни физиотерапии, не то, что в современной поликлинике.

Однажды даже мне пришлось прибегнуть к помощи бабки. Было мне лет двенадцать, когда я, вытягивая на берег тяжелую лодку, так надорвалась, что не могла поднять руки вверх. Когда бабушка впервые коснулась моего живота, разминая и растирая его, я дико орала от боли.

– Ничего, девка, терпи. Ой, желваки-то, желваки какие... И как тебя угораздило?

На третий день лечения мне уже приятно было прикосновение бабушкиных рук к моему животу.

Теперь мне было понятно, почему и мама частенько прибегала к помощи бабки. Будучи постоянно в «положении» (у мамы было двенадцать беременностей!) или в тягости, как тогда говорили, мама порой и в самом деле чувствовала тяжесть в животе: оступилась ли, шагнула неловко, спрыгнула ли с подводы, да мало ли что, и бабушка, заметив недомогание невестки, говорила:

– Давай-ка, Анюта, я баньку истоплю да тебя поправлю.

Они уходили в баню и возвращались оттуда нескоро, обе точно размягченные. Бабушка садилась пить чай (наша неперемнная обязанность была поставить к этому времени самовар), а мама, по ее настоянию, должна была не менее часа лежать на спине в постели, и чашку чая мы ставили перед мамой на стул, придвинутый к изголовью ее кровати.

Привычка отдыхать после бани в постели так укоренилась в маме, что она всю жизнь не изменяла ей. Какие бы срочные дела по дому или по школе (составление планов, проверка ли тетрадей) не ждали ее, она никогда не позволяла себе братья за них прежде, чем не отдохнет после бани. Это был ее, как шутил отец, «адмиральский час». И даже маленькие дети, не говоря уж о нас с сестрой, знали, что в этот час нельзя беспокоить маму.

Бабушка не верила в Бога, хотя часто говорила: «Прости меня грешную», мельком бросив взгляд на иконы в углу. Но это была скорее присказка. Смолоду она, может быть, и даже наверняка, была верующей, но после революции под влиянием сына-атеиста охладела к религии.

И хотя божница с иконами в углу сохранилась в комнатах, и даже лампадки висели перед ней на позеленевших от времени цепочках, но они не зажигались, и мы никогда не видели, чтобы бабушка крестилась или ходила в церковь. Отыскав в чулане старые иконы с потемневшими ликами, бабушка помыла их и стала закрывать ими кринки с молоком, говоря на всякий случай:

– Господи, прости меня грешную.

Зато вторая наша бабушка Анна Егоровна была верующей, да ей, бывшей попадье, нельзя было не верить, не положено. С переездом ее к нам, что произошло в девятнадцатом году, в столовой, где поселилась бабушка со своей кроватью и комодом (больше, кажется, она ничего не привезла с собой из мебели), в праздники всегда теплилась лампадка. И от этого как-то особенно уютно становилось в комнате. В углу белела пышная бабушкина кровать, в простенке высился комод, из которого, несмотря на житейские перипетии в бабушкиной судьбе, так и не выветрился запах такой милый, такой знакомый нам по прежним поездкам к остроженской бабушке. Запах этот мешался с запахом пирога, который бабушка выпекала по случаю праздника и который «отдыхал» на комодке в ожидании вечернего чая. Бабушка возвращалась из церкви, от вечерни, и мы все собирались у самовара. Даже бабушка Васса Симоновна по этому случаю покидала свою постель.

Когда бабушки были рядом, особенно бросалась в глаза разница в их облике и даже в одежде. Бабушка Васса сидела за столом в своем неизменном бумазейном халате, порядком застиранном и помятом. Остроженская бабушка Анна Егоровна, придя от вечерни, не спешила переодеваться в будничное. Она оставалась в черной, длинной, широкой юбке, в черной же кофточке с баской и кружевами на груди. Маленькую головку ее с гладко причесанными на прямой пробор волосами, чуть посеребрёнными на висках, венчала черная кружевная наколка, которая очень шла бабушке, к ее глубоким серым глазам, свежему лицу с крапчатым румянцем на щеках. Своей фигурой с высокой грудью и пышными бедрами остроженская бабушка очень напоминала просфору (недаром она много лет была просвирней!). Это сходство еще более подчеркивалось одеждой. Широченная юбка, под которой была одета не менее пышная накрахмаленная нижняя юбка, создавала впечатление нижней половины просфоры, над нею высилась вторая часть просфоры – плечи и грудь бабушки, а еще выше маленькая головка с кружевной наколкой, как печатка, которую ставят на просфоре.

Хороша была бабушка в молодости! Недаром от женихов отбоя не было, когда она овдовела в неполные тридцать лет. Жила наша вторая бабушка Анна Егоровна в селе Острожка, где, кстати, родилась я. Жила она в большом поповском доме возле церкви, где после смерти мужа – священника этой церкви – она числилась просвирней. Уж так повелось издавна: умирал батюшка – матушка оставалась при церкви печь просфоры, это давало ей средства к существованию. Этим церковь как бы выполняла свой долг перед семьей ушедшего из жизни пастыря. Если хотите, это была своего рода пенсия, но пенсия, зарабатываемая тяжелым трудом.

Не думайте, что печь просфоры такое легкое дело. Просфор, этих двойных постных булочек, сверху которых тиснута церковная печатка, требовалось для Богослужения несколько сот, особенно в праздничные дни. И бабушка ставила большие квашни, теста в которых умещалось по пуду, если не больше. А попробуйте вымесить пудовую квашню, да так, чтобы тесто «пищало» под руками и лезло вон из квашни. Недаром бабушка в старости страдала опущением внутренних органов. Нет, не даром бабушке давался ее хлеб. Тяжелая это была работа.

Мы любили ездить к остроженской бабушке в гости. Бывало, достаточно отцу сказать, что на следующий день мы отправляемся к бабушке, как мы не могли дождаться утра. С вечера у нас все уже было уложено, что надлежало взять с собой. Отец поднимал нас до солнышка, чтобы мы, хотя бы часть пути, проехали по холодку.

Мы с мамой садились в коробок, дедушка взбирался на козлы, проверив еще раз, прочно ли привязан багаж на задке телеги, и мы трогались в путь. Ехать предстояло весь день, но нас это только радовало, ведь в пути ждало столько интересного! Надо было прежде всего установить рубеж, где кончался наш поселок и начиналась деревня Оксеново, примыкающая вплотную к нашему поселку.

– Да вот она и граница, – говорил дед, разрешая наши сомнения и останавливаясь возле большого ключа, который широкой плотной струей выливался из желоба в колоду.

Позднее, через много-много лет, бывая в Кисловодске, где возле «зеркальной струи» постоянно толпились курортники, восторгаясь и ахая, я всегда вспоминала наш Оксеновский (Верещагинский) ключ, который был куда мощнее, однако никто возле него не стоял, и никто им не восторгался. Дед, деловито отвязывая позвякивавшее под телегой ведро, набирал из «зеркальной струи» воды и поил лошадей.

Дальше дорога шла в гору, колеса двигались с заметным трудом, под ними жалобно повизгивала галька, которой обычно засыпали проселочные дороги.

– Ну-ка, девки, вылезайте, поразомнитесь маненько, а то наша Карюха запарилась, – говорил дед, спрыгивая с козел. И верно, круп лошади темнел от пота. Мы вываливались из коробка и, перегоня друг друга, бежали в гору. Карюха, помахивая головой, шла быстрее.

– Известное дело: баба с возу – кобыле легче, – резюмировал дед.

– Может и мне выйти? – спрашивала мама, принимая слова деда как намек.

– Сиди, Анюта. Это я так, к слову сказал.

Дед, как и бабушка Васса Симоновна, любил присловья, пословицы, поговорки, считая, что ничто так точно не выражает сути дела, как сказанное к месту меткое словцо. Вот и сейчас в дороге он то и дело пересыпал свою речь пословицами. Еще дома, когда укладывались, советовал:

– Едешь на день – бери хлеба на неделю.

Или о Карюхе:

– Под гору вскачь, а в гору хоть плачь.

Но вот гора кончалась. Дед, кряхтя, влезал на козлы:

– Эх, старость не радость, а и смерть не корысть! – приговаривал он.

Мы тоже усаживались в коробок и весело катили дальше. Нам еще не раз приходилось вылезать из коробка и идти пешком, потому что дорога шла по увалам, мы то спускались с крутой горки, то вновь оказывались на гребне следующей. Только когда мы проезжали больше половины пути, дорога вдруг шла по ровной местности. Здесь по обе стороны дороги росли березы, очень старые, стволы были в два обхвата, и кора на них, потрескавшаяся, была почти черной.

– Сибирский тракт! – говорил дед, оборачиваясь к нам. – Да, бывало время, потопали по нему чьи-то ноженьки...

Я уже читала стихотворение «Колодники». И мне живо представлялся вечер, закат, пыльная дорога и длинная вереница бредущих по ней людей, а в ушах уже звучали стихи:

*«Спускается солнце за степи,  
вдали золотится ковыль,  
колодников звонкие цепи  
взметают дорожную пыль.  
Идут с ними длинные тени,  
две клячи телегу везут,  
лениво сгибая колени,  
конвойные с ними идут»*

– Вот и нашего Василия Митрофановича едва по этой самой дороге не отправили, – продолжал дед, переводя Карюху на шаг, – кончил он свою семинарию, приехал домой, летом было дело, и давай с народом по душам беседовать: царь де такой-сякой, кровопийца, и эксплуататор, доколе терпеть его будете? Маёвку какую-то за прудом устроил, вроде чай пьют, на воздухе развлекаются, а сами книжки запрещенные читают. Ну, и донес кто-то, кто перед начальством смычком стоит. Да... шагать бы Васе по этапу, да, ладно, урядник знакомый был, я ему шины новые на колеса ставил, человеком оказался, как говорится, «инда и за светлой пуговицей душа живет». Так вот этот урядник и говорит мне: «Ты своего смутьяна, Митрофан Егорович, уйми. А то худо будет. Бумага на него в волость пришла: обыск, арест и прочее...» Ну, думаю, пропал Васька. Домой кинулся, говорю, так и так, Василий, что делать будем? А ничего, говорит, батя, вечером отвезешь меня за пруд, а вот эти книжки спрячь куда-нибудь подальше. И сунул мне стопочку книжечек тоненьких да тетрадок шпагатом перевязанных. Мать в слезы, а он: «Не плачь, мама, я скоро вернусь. А пока собери-ка мне что-нибудь в дорогу».

Перевез я его за пруд, а книжки взял да и сжег в печи, где кирпич обжигал, все от греха подальше. Жалел потом Вася, что сжег, напрасно, говорит, батя, ты это сделал, ну, зарыл бы где-нибудь, что ли. А я что? Я знаю одно: «Береженого Бог бережет, а бойконький сам наскочит». Ночью и, верно, был обыск, перерыли все, на чердак слазили, ничего не нашли, спрашивают: «Где сын?». А я говорю: «Не знаю, уехал куда-то, он мне не докладывает». А уехал он тогда, Анюта, к тебе, в Острожку. В скорости вы и повенчались.

Из рассказов мамы я уже знала, что отец считался неблагонадежным, и впоследствии ему то и дело приходилось менять место работы. Одно время он скрывался в имении какого-то помещика в Малмыжском уезде, где он и мама учили деревенских ребятишек. Два раза отец сидел в тюрьме, в последний раз около года, и мама с двумя детьми очень бедствовала в это время. Ей пришлось даже продать кое-что из своего приданного, в частности, наволочки с вышивкой монастырской работы. Мама потом не раз вспоминала о них с сожалением. Отца за неимением улик выпустили. Все это я знала и раньше от мамы, но впервые слышала от деда рассказ о своем отце, и он особенно взволновал меня. И то, что мы ехали по тракту, по которому гнали на каторгу людей, осмеливавшихся пойти против царя, и стихотворение о колодниках, звучавшее в моих ушах – всё это как-то по новому осветило мало знакомую мне сторону жизни отца, сделало ее реальнее, зримее. Я сидела, вцепившись в край коробка, явственно слышала звон кандалов и отчетливо видела отца в цепи колодников, взметавших ногами розовую пыль дороги...

– Ты что притихла, Нина? – спрашивала меня мама, всегда чутко улавливавшая перемены в настроении своих детей.

– Страшно, мама. Колодники... Цепи дорогу метут.

– Теперь уже не страшно, девочка. Теперь все позади, – мама прижимала меня к себе и целовала в макушку.

Несколько лет спустя я видела в театре пьесу «Альбина Мегурская». Пьеса была душе-раздирающей мелодрамой, считалась далеко не классикой, но она потрясла меня. Речь в ней

шла о невесте революционера, который томился в ссылке в далекой Якутии. Жених был безнадежно болен чахоткой, его могла спасти только перемена климата, и невеста решила увезти его тайком в Россию. Был разработан план побега, по которому жених, якобы, умер, был похоронен, и невесте было дано разрешение вывезти его тело в Россию. Но вывозила-то она в гробу живого жениха. Долгий санный путь, остановки на постоянных дворах. Но полиции становится известно, что в могилу был опущен гроб не с телом умершего, а с колодой. Начинается погоня за беглецами. Настигают их во время ночлега на постоялом дворе. Растерявшиеся женщины (Альбина и ее горничная) прячут жениха в гроб и плотно закрывают крышку. Больной в гробу задыхается. Следствие устанавливает, что смерть наступила только что. Теперь Альбину судят уже за двойное преступление: за похищение ссыльного и за его убийство. Приговаривают к каторге. С обмороженными ногами она еле бредет в колонне ссыльных. И вот на привале, когда она уже не в силах подняться, ее оставляют одну возле потухшего костра. Ночь. Темнота. Медленно падают снежинки. А вдали, приближаясь, сверкают зеленые огоньки. Волки...

Но вот дорога к концу. На закате мы въезжали в Острожку. Это большое село, главная улица его тянулась вдоль тракта. Добротные дома были срублены из кондового леса, крыши крыты железом и выкрашены то в красный, то в зеленый цвет. В конце главной улицы высилась церковь. Она из белого камня, на позолоченных крестах искрились лучи заходящего солнца. Высокие старые березы почти вплотную окружали церковь, и только от чугунных ворот ограды к паперти шла просека. Стаи тревожно кричащих галок прочерчивали синеву неба, на верхушках берез чернели их гнезда.

А вот и бабушкин дом, он рядом с церковью. Его окна ярко освещены, но это вечернее солнце золотило их. Дед спрыгивал с козел, распахивал ворота, и мы въезжали в просторный, широкий двор, покрытый травой. На крыльце появлялась бабушка, она всплескивала руками и, приподняв подол длинной черной юбки, спускалась с крыльца.

– Здорово, сватья! – кричал дед, – принимай гостей!

А бабушка, все не выпуская подола из рук, уже бежала к нам через двор. Целовала нас, выпрыгнувших из коробка, помогала сойти маме.

– Ой, да как хорошо, что приехали! Да как это вы надумали, Анята?

Дед степенно подходил к сватье и, обмахнув усы, троекратно целовался с ней:

– Да, вот так и надумали. У внучей наших каникулы. Анята вроде тоже как бы в отпуске... – Дед бросал взгляд на мамин живот (мама опять в положении). – А я думаю, давно не пивал сватьиной бражки. Вот так и собрались. Где блины, тут и мы, где оладьи, там и ладно.

Бабушка тревожно оглядывала маму (не растрясло ли ее в дороге?) и вела нас в дом. Здесь все нам давно знакомо. Просторная кухня, русская печь, где бабушка пекла такие вкусные булочки – просфорки. Вот и опять на лавке квашня с тестом, оно подушкой приподнимало белый плат, которым прикрывалась квашня. В столовой – большой комнате с тремя окнами на улицу и с тремя же во двор – стоял квадратный стол, который в случае необходимости можно было раздвинуть, и он принимал хоть два десятка гостей. Но сейчас в этом нет необходимости. Нас шестеро, включая бабушку, и мы все размещаемся за ним. Поверх белой скатерти, свисавшей чуть не до полу, на столе лежала кремовая клеенка, затейливые цветы на ней нам хорошо знакомы. Эта клеенка у бабушки давно, но бабушка бережлива, не дай Бог, сделать на клеенке пятно или царапину, а еще хуже – порезать ее, как сделала однажды я, наспех отрезая ломоть хлеба, с которым сестра ждала меня в огороде, где мы паслись на грядке с огурцами. Нам мало было бабушкиных огурцов, так мы однажды перелезли через жерди, забрались в соседний огород и нарвали полные подолы крупных ядреных огурцов (с тех пор во мне осталось пристрастие к плотным зрелым огурцам, и я терпеть не могу зеленые в пупырышках закорючки).

– Грех-то, какой! Срам-то, какой! – запричитала бабушка, когда мы, явившись домой с добычей, рассказывали, как нам повезло.

– Да разве можно по чужим огородам лазить? Это мальчишки лезут, а вы девочки, барышни. Сейчас же идите и отнесите огурцы Матрене Гавриловне! Да не забудьте прощения попросить! – кричала бабушка вдогонку.

Но у нас тогда не хватило духу предстать перед грозными глазами Матрены Гавриловны. Мы просто подсунули ворованные огурцы на грядку соседки и какое-то время не могли смотреть прямо бабушке в глаза. А она еще долго не могла успокоиться. Вечером, помолившись на коленях перед лампадкой, бабушка, вздыхая и охая, взобралась на свою перину и рассказала нам несколько притчей о том, как господь Бог наказал грешников, осмелившихся посягнуть на чужое.

– А нам папа рассказывал, что в Китае вора́м отрубали руки, сначала левую, а потом и правую, – подала из темноты голос сестрица.

– Ну, вот, знаете же, что нельзя брать чужое, так зачем же полезли за огурцами?

Бабушка засыпала, а я все лежала без сна и думала, почему так получается: вот и знает человек, что нельзя этого делать, воровать, например, знает, что его накажут, а все-таки делает. Почему? Дедушка говорит: «Бес попутал». А если никакого беса нет? и неужели не страшно остаться без рук? Я шевелила плечами, представляя, как бы я осталась без рук. Как бы я пила, ела, одевалась? И, не решив этого, тоже засыпала.

На всех окнах у бабушки цвели герани: розовые, белые, красные. Мне больше всего нравились розовые, от них был такой нежный запах. Впрочем, у бабушки приятно пахли не только цветы, но и вещи. Комод, например. В нем кроме ящичков, в которых хранилось белье, переложенное от моли сухими травами, было еще несколько маленьких ящичков, где чего только не было. Вот содержимое этих ящичков и создавало неповторимый аромат присутствующей комоду. Хранились в ящичках пустые флаконы из-под духов, которые, казалось, только и ждали того, чтобы мы наполнили их водой и с наслаждением опрыскивали себя «духами». Лежали там пакетики гвоздики, корицы, кардамона, остатки какао «Золотой ярлык», кофе «Мокко» в баночках, валялось несколько ядрышков мускатного ореха, который бабушка обязательно клала в мясо для пирожков. А вот и грецкие орехи. Мы любили раскалывать их молоточком и выковыривать из скорлупок содержимое.

Бабушка с доброй улыбкой наблюдала, как мы, выдвигая один ящичек за другим, рылись в ее «соковищах», с наслаждением вдыхая любимые запахи.

Спали мы в бабушкиной комнате на полу, возле ее пышной кровати. В углу, перед иконой Спасителя теплилась лампадка, заправленная елейным маслом (теперешние бабушки с успехом заменили его ментоловым) и так тихо, спокойно, я бы сказала, умиротворенно становилось на душе. Из столовой, где еще продолжалось чаепитие, доносились приглушенные голоса. Бабушка жаловалась, как трудно ей печь просвиры, вымешивать пудовые квашни, на что дед, перекатывая во рту кусочек сахара и с шумом втягивая чай, говорил:

– Что поделаешь, сватья. Такая наша жизнь: тяни лямку, пока не выкопают ямку.

Мамы уже не было слышно. Спала она обычно на широкой тахте с маленькой сестренкой, тут же в столовой. Но вот и дед лез на печку, которая из необходимости печь просвиры и летом жарко топилась. Это и привлекало деда, страдавшего ломотой в ногах: «Русская кость тепло любит». «Да, сватья, дал бы Бог здоровья, а дней впереди много...»

Утром, спозаранку, напившись чаю, дед уезжал, а мы оставались у бабушки на долгие две недели. Пролетали же они мигом, не успеешь, бывало, оглянуться, как за нами заезжал отец, возвращаясь по делам из Оханска. Служил он в те времена инспектором земских школ и часто колесил по уезду. Мы прощались с бабушкой и трогались в обратный путь. Бабушка обязательно снабжала нас гостинцами. Сидишь, бывало, в коробке, а в ногах у тебя громоздится кадушка с медом или маленка с яйцами, пересыпанными отрубями.

Обратная дорога тоже представлялась интересной. Раза два мы, обязательно, останавливались в деревнях, через которые проезжали. Названия их и до сих пор в памяти: Дубрава,

Гуманцы, Мыльниково. Дубрава особенно запомнилась, потому что задерживались мы в ней дольше, чем где-либо, село как раз было на полпути. Отец выпрягал лошадь, задавал ей корму, а мы шли к знакомому учителю пить чай. Жена учителя и его свояченица тоже учительствовали в одной школе с ним. Были они обе высокие, красивые, с черноволосой, пышной прической одна сестра и с такой же пышной, но рыжей прической – другая. В учительской среде их так и называли: «Сестры Рогожинские», хотя старшая уже носила фамилию мужа. Мама была дружна с обеими и была рада, когда они появлялись у нас, проезжая в Очер к своим родителям.

После вкусного обеда и чая, сопровождавшимися веселыми шутками отца и смехом сестер, мы трогались дальше. Мама сидела задумчивая, рассеяно отвечала на наши вопросы, тогда как с лица отца долго не сходило оживление, точно он все еще был во власти того настроения, какое царило за столом. Может быть, мысленно он повторял те удачные остроты, которым так смеялись сестры, особенно младшая. О чем думала мама? Может быть, она думала: «Вот, живут две молодые женщины, красивые, привлекательные, живут беспечно. Нет у них кучи детей, которых надо кормить грудью, о которых надо ежеминутно, ежесекундно беспокоиться, не спать ночами, когда они больны, делать компрессы, ставить клизмы... Утром, несмотря ни на что, с больной головой после бессонной ночи отправляться в школу и весь день проводить в гомоне и крике чужих ребятишек. Неудивительно, что она постарела, подурнела, а тут еще эта беременность. Конечно, приятно смотреть на младшую Рогожинскую, острить, ожидая, что именно она оценит его остроту и особенно звонко рассмеется».

– Ты что, устала, Аня? – тревожно спрашивал отец, сгоняя с лица произвольную улыбку. – Может быть, подложить под тебя побольше сена? – продолжал он, беря маму за руку.

– Нет, ничего, все хорошо, – отвечала мама, и глаза ее наполнялись слезами. Но это уже были слезы благодарности за маленькое внимание мужа.

– Все хорошо, – повторяла она, отвечая уже своим мыслям.

К дому подъезжали в темноте. Встречал нас дед, он принимал от отца лошадь и, с улыбкой оглядывая нас, спрашивал:

– Ну что, девки? в гостях хорошо, а дома лучше?

Но мы не разделяли убежденности деда в верности пословицы. В памяти еще живы чудесные дни, проведенные у бабушки. Укаченные ездой, усталые, мы вяло брели в дом, умывались, мыли ноги и, наскоро поужинав мечниковской простоквашей с хлебом (отец считал очень полезным выпивать ее на ночь), без сил валились в постель.

Утром нас поднимали рано. Каникулы (двухнедельный отдых у бабушки) кончались, и пора было приниматься за дела. Нас ждал огород, где за время нашего отсутствия гряды зарастали сорняками, ждал сбор ягод, грибов, ждала бесконечная вязка чулок, которые надо припастить к осени и зиме. А тут еще мама затевала шить, готовить приданное ожидаемому маленькому. Хотя от нашей младшей сестренки Лели оставалось полно всяких пеленок, распашонок, мама, тем не менее, считала своим долгом пополнить запас белья. И вот тетка Анна кроит кофточки, чепчики (сама мама не умела ни шить, ни кроить), а мы, сметывая их, постигали первые уроки шитья на машинке. И бывали очень горды, держа в руках первую, собственноручно сшитую распашонку.

Эти уроки оченьгодились нам. Та же Леля лет в двенадцать уже самостоятельно обшивала младших ребятишек. Бывало остроженская бабушка (так мы продолжали называть ее, хотя она уже несколько лет жила у нас) уйдет в церковь, к обедне, а Леля, порывшись в ее сундуке и вытащив какую-нибудь ткань (ситец или сатин), уже кроит из нее платьице малышке, сошьет не только платье, но и чепчик замысловатый соорудит. Народ валит от обедни, а Лелька уже с наряженной во все новое сестрицей на руках идет бабушке навстречу.

– Постой, постой, – говорила бабушка, узнавая и не узнавая младшую внучку на руках Лели. – Что это на ней за платье? Небось, опять в сундуке рылась?

– Ага, а что? – беспечно отвечала Леля.

– Ах, ты, варначка, – сердилась бабушка, – да там матерьяла на добрую кофту было, а ты махонькое платьице сшила! Лоскутов-то, поди, осталось...

– Осталось. Хороший коврик свяжем.

Но бабушка уже улыбалась, ее умиляла эта скоропалительность Лелиного шитья, да и не умела она долго сердиться.

Как я уже говорила, живя в Острожке, бабушка числилась просвирней при местной церкви. Жалованья бабушке за выпечку просфор не платили, но зато два раза в году, в Великий пост и в Петровский, бабушка имела право поехать по деревням, приписанным к приходу, с побором. Однажды она меня взяла с собою в эту свою поездку. Мы сидели в санях и медленно ехали вдоль деревни. Из окон выглядывали мужики, бабы и поспешно прятались. Но чаще из ворот выбегала хозяйка, неся в узелке десяток яиц, связку сушеных грибов, плетенку луку, кружок масла, муки чашку. Бабушка за все благодарила, все раскладывала в заранее припасенную тару: корзину для яиц, корчажку для масла, мешок для муки, все укрывала сверху пологом, и мы трогались дальше, пока вновь выскочившая из ворот молодка не останавливала нас и не пополняла наши запасы.

Возвращалась из этих поездок бабушка усталая, но довольная. И в самом деле, было чему радоваться: в кладовке у бабушки всегда стояли корчажки с маслом, корзинки с доброй сотней яиц, маленькие с разными крупами, мукой. Но это изобилие было обманчивым, ведь растянуть все это продовольствие надо было на полгода. К тому же бабушка была гостеприимна, радовалась каждому гостю. В базарные и воскресные дни у нее самовар не сходил со стола, естественно, к чаю подавались и уральские шанешки, только что не прозрачные от пропитавшего их масла, пироги с рыбой и сагой. Гостями были приехавшие в церковь или на базар крестьяне окрестных деревень. Они вводили лошадей в просторный двор поповского дома, задавали им овса или сена, а сами направлялись чаевничать к «мачке», так называли бабушку мужики, сокращая слово «матушка». Сидели подолгу за самоваром, пили чашку за чашкой, рассказывая «мачке» все новости, какие случались в их деревне. Поскольку бабушка знала всех жителей от мала до велика, то и ей эти новости были интересны, разговоры доставляли удовольствие. Самовар в течение дня несколько раз уносился со стола в кухню и вновь кипятился. Так как одна партия гостей сменяла другую, то чаепитие продолжалось весь день.

– Уж больно ты проста, мачка, – говорила бабушке церковная сторожиха, приходившая в такие дни помочь бабушке. – Это только подсчитать, сколько народу у тебя сегодня выгостилось! Одно чаю, сахару сколько ушло за день!

– Нельзя иначе, Марья, с какими глазами я покажусь людям, как с побором-то поеду? А тут каждый шапку снимает: «Здравствуй, мачка!», «Вот не побрезгуй, мачка, прими от меня кружочек смальца...»

И верно, бабушку уважали, и никогда она из своих поездок не возвращалась с пустыми санями. Но годы шли, люди стали реже посещать церковь, гостей у бабушки поубавилось, даже тех, что оставляли лошадь в поповском дворе и рады были бы по старой памяти отблагодарить мачку. Но в доме хозяйевали уже молодые, которые считали религию опиумом для народа и не слишком-то благосклонно взирали на старуху, которой ни за что ни про что надо было отваливать десяток яиц. Ни о какой подводе уже не могло быть и речи, десятки километров бабушка проходила пешком. Моя сестра однажды сопровождала ее в этом походе, и у нее осталось самое тягостное воспоминание о нем. Ходила бабушка из дома в дом, заискивала перед людьми, чтобы получить совок муки, пару яиц, две-три ложки сметаны, встречала недружелюбные взгляды, часто отказ: «Не обессудь, мачка...» А потом тащила это «добро» на себе под дождем, на ветру, в одной руке туес, в другой – корзина. Да, трудно приходилось старухе. Вот почему родители, посоветовавшись, решили взять бабушку к себе.

Переехав к нам, остроженская бабушка не могла сидеть сложа руки. Видя каких трудов стоит сватье с ее больными ногами и руками возиться у печи (месить квашни, печь хлеба,

варить еду на всех), она рьяно взялась помогать ей. И как-то так получилось, что хлеб пекла уже она, квас, брагу замешивала тоже она. По словам той же сватья они удавались ей лучше, были ядренее. Словом, вскоре получилось так, что остроженская бабушка совсем вытеснила павловскую бабушку из кухни. Вначале это было бабушке Вассе на руку:

– Передохну хоть маненько. Ой, рученьки, ноженьки мои! – плачущим голосом приговаривала она, вытягиваясь на постели.

Но постепенно Вассу Симоновну стала разбирать досада:

– Ишь, хозяйка какая выискалась... В своем-то доме я, стал быть, уже лишняя... Вон она как весело гремит ухватами, рада радешенька, что отпихнула меня от кухни. Знал бы, Вася, каково мне из ее рук есть, пить.

Она жаловалась отцу. Он хмурился и уходил к себе наверх. Что он мог сказать матери? Хорошо. Я отошлю тещу обратно. Но ведь ты не сможешь встать к печи и обслуживать нас всех, тебе это уже не под силу. И тещу он не мог отправить обратно, поскольку сдернул ее с места, лишил квартиры и маломальских средств к существованию. Да и какие у него могут быть основания к недовольству тещей? Обед всегда готов во время, и завтрак, и ужин. Разве он не видит, каких трудов ей стоит весь день топтаться у печи, ведь лет ей немногим меньше, чем матери. Все они должны быть только благодарны Анне Егоровне...

Но бабушки, точно оправдывая пословицу, что «двум медведицам в одной берлоге не ужиться», постоянно ссорились. И верх в стычках был всегда за павловской бабушкой. Она находила особенно ядовитые слова, которые больно жалили остроженскую бабушку, но та была отходчива. И даже после такого тяжелого обвинения, что именно она сама рано свела мужа в могилу, бабушка, откричавшись в свое оправдание, ставила самовар, чтобы за чаем обрести равновесие. Сидя за столом, на котором лежали румяные, свежеиспеченные пышки, говорила миролюбиво:

– Сватья, садись чай пить!

Но павловская бабушка, отвернувшись к стене, отмалчивалась, делала вид, что спит. А когда сватья выходила во двор, чтобы навести порядок в погребке, где на снегу летом всегда стояла корчага с домашним квасом или пивом, варить которые остроженская бабушка была мастерица, павловская бабушка поднималась с постели и пила остывший чай с остывшими же пышками. Парочку пышек она, воровато оглядываясь, прятала под подушку, чтобы позднее съесть спокойно, не из рук ненавистой свaties.

Мы, дети, нередко были свидетелями перепалок между старухами. Одна из них нас особенно поразила, поэтому и запомнилась.

– Ты, ты убийца! – кричала павловская бабушка, сидя на постели и свесив худые бледные ноги в синих узлах вен, – ты загубила невинную душеньку, моего первого внученочка... Васиного сыночка!

– Сватья, да ты что?! – остроженская бабушка оторопело смотрела на павловскую.

– А-а-а, забыла, как его мертвенького у тебя из-за пазухи вынули!? Помнишь, как везла его из Острожки, в тулуп закутала, он и задохнулся!

– Господь с тобой, сватья, чего ты мелешь!? Сашенька умер от воспаления легких. И доктор подтвердил!

– Доктор... знаем мы этих докторов! Убийца ты и никто больше.

Мы с ужасом слушали эти обвинения. Перед нами открывалась «семейная тайна». Так вот почему, оказывается, мама часто бывает суха с остроженской бабушкой и никогда не берет ее сторону, когда бабки ссорятся. Она не может простить смерти своего первого ребенка! Мы стали пристально следить за поведением мамы, за тем, как она разговаривает с бабушкой. Да, верно, мама ненавидит бабушку, иначе она не закричала бы на нее, стиснув ладонями голову:

– Ах, как ты мне надоела своими жалобами! Не смей жаловаться и Василию Митрофановичу!

«Семейная тайна» томила нас. Решили узнать истину от самой мамы и подступили к ней с вопросом:

– Мама, правда, что бабушка?...

– Какая чушь! – возмутилась мама. – Кто сказал вам об этом? Сашенька умер от воспаления легких. Доктор предупреждал, что его нельзя брать в дорогу...

А родителям, оказывается, надо было немедленно выехать. Отцу давали 24 часа на сборы и отъезд.

Позднее мне стала понятна сухость мамы в отношениях со своей матерью. Положение мамы было сложным. В душе, конечно же, больше жалея мать, она, тем не менее, не могла открыто встать на ее сторону, это могло испортить отношения со свекровью, а, возможно, и с мужем. Вместе с тем, ее раздражала бесхребетность матери, ее неумение постоять за себя. В самом деле, ей кидают обвинение в том, что она задушила внука, а она через полчаса:

– Сватья, иди чай пить!

И мы, дети, нередко позволяли себе говорить с бабушкой раздраженным тоном, следуя примеру мамы. Нас совершенно выводила из себя ее привычка поучать. Даст какое-нибудь поручение и бежит за тобой вдогонку, чуть ли не за калитку с наказом: «Смотри, деньги не потеряй!» или «Соли, спичек не забудь купить!». Хотя все это было обговорено еще дома. Бежишь в магазин и злишься, и хочется сделать наоборот. Мытье полов в кухне превращалось для нас в пытку. Бабушка садилась посреди кухни на табурет и ежеминутно приказывала:

– Вот эту половичку потри хорошенько. Вон в том уголке поскреби еще.

Первой не выдерживала сестра. Она с остервенением бросала мокрую тряпку на пол, так что разлетавшиеся брызги вынуждали бабушку подбирать подол юбки, и со слезами кричала:

– Не буду больше мыть! Мой сама! – и выбегала из кухни.

Бабушка смущенно улыбалась, и дальнейшее мытье пола завершалось более или менее благополучно.

Павловской бабушке мы, конечно, не осмелились бы так сказать: «Мой сама!». Мы очень боялись ее и беспрекословно выполняли все ее поручения: натаскать воды с пруда для бани или для полива огорода, принести с ключика из Симуткина (за два километра от дому) воды для самовара, вымыть полы в кухне и в сенях, да не просто вымыть, а оттереть их дресвой с голиком до желтизны, выколотить вальком на пруду холсты, а затем разостлать их на улице на полянке, чтобы отбелились, следя при этом, чтобы гуси, чего доброго, не зазеленили их. Да мало ли дел в хозяйстве, с которыми уже не справляются старые натруженные руки. А тут девки молодые, здоровые рядом, как не заставить их делом заняться. И бабушка, как будто нарочно, придумывала для нас все новые и новые дела: «Бегите, девки, на болото за черноземом!», «А морковь кто будет полоть? Я что ли? Вот я, ужо, скажу отцу!».

Напоминание об отце нас как ветром сдувало с места. Отца мы боялись еще больше бабушки, боялись его нахмуренных бровей, его неодобрительного взгляда, который действовал на нас сильнее любого другого наказания.

Из двух бабушек мы все-таки больше любили остроженскую бабушку. Она как-то умела расположить к себе детей, всегда у нее был припрятан для нас лакомый кусочек. Бывало, порется в карманах своей широченной юбки до полу и обязательно вытащит то конфетку, то печенье, а то и просто сухарик.

Позднее, в пору моих девических увлечений, бабушка стала моей поверенной. Забравшись на ее высокую кровать с мягкой периной и прижавшись к теплому бабушкиному боку, я с огорчением рассказывала ей о том, что мальчик, который мне очень нравился, прошел мимо с другой девочкой, даже не взглянув на меня.

– Как ты думаешь: неужели из-за того случая?

Вспоминая о «том» случае, бабушка, смеясь, колыхалась всем своим большим телом так, что тряслась кровать, а вместе с нею и я. А случай тот для меня был очень конфузным.

Как-то в жаркий летний день мы занимались стиркой в бане. Пришли подружки, и мы стали обливаться водой, пришлось снять с себя платья и остаться в одних рубашках. Вдруг кто-то постучал в калитку. Я побежала открыть. Открыла и обомлела: передо мной стоял «он» и спрашивал папу. Не ответив, я повернулась и побежала в дом, сверкая своим голым задком из под короткой рубашки.

– Да, ты бы хоть пятилась, – трясаясь от смеха, говорила бабушка, – ведь на тебе фартук был...

Но мое единственное: «Ужас, ужас!» – заставлял ее сдерживать смех.

– И ничего, Нина, это не ужас. Вырастешь, поймешь.

Мне бы и в голову не пришло делиться своими тайнами с павловской бабушкой, хотя, думая так, я была к ней, может быть, несправедлива. Отпугивал меня ее суровый взгляд из-под насупленных бровей. Запомнилась она в неизменном байковом халате, порядком застиранном, в платке, из-под которого выбивались редкие седые волосы, который она тоже никогда не снимала, а только затягивала узлом под подбородком. На ногах ее и зимой и летом были подшитые катанки, и даже когда она выходила за ворота посидеть на лавочке, она не снимала их.

Остроженская бабушка по сравнению с ней была щеголихой. Своей привычке одеваться как попадья, бабушка не изменила, хотя давно уже не была ни попадеей, ни даже просвирней. Носила ботинки с ушками, мучилась от того, что они жали ей искривленные подагрой пальцы, но ни о каких катанках и слышать не хотела. Сказывалась порода, привычка одеваться прилично, укоренившаяся смолоду.

Выросла бабушка в семье управляющего Строгановским заводом и очень гордилась этим, не упуская в перепалках с павловской бабушкой козырнуть этим.

– Известно, белая косточка, где уж нам! – поджимая губы, замечала павловская бабушка.

Братья остроженской бабушки жили в Нижнем Новгороде и, по словам бабушки, были не последними людьми в городе. Во всяком случае, на карточках, которые хранились в бабушкином семейном альбоме, они выглядели очень важными и совсем не походили на купцов, хотя и были таковыми.

В моем представлении купец это толстый дядька с большим животом, подстриженный под «горшок», в рубахе на выпуск, в сапогах, пахнущих дегтем. Вероятно, такое же представление о купце было и у павловской бабушки, тем более, что купец-целовальник жил на нашей же улице, и она говаривала:

– Ну, да! Чего им не быть толстым да пузатым! Попили, чай, нашей кровушки!

Но купцы на бабушкиных карточках совсем не походили на кровопийц. На той, где был снят старший брат Иван Егорович с семьей, сидел интеллигентный человек, безукоризненно одетый, в чеховском пенсне, скорее похожий на преуспевающего доктора. Под стать ему была и жена, красивая дама, затянутая в корсет, об этом можно было судить по тому, как она сидела. Между ними стояла их дочь гимназистка с прелестными темными глазами, над которыми темные же брови у висков чуть загибались вверх, уголки губ тоже чуть приподнимались, и это создавало впечатление удивительно милой полуулыбки.

Я насмотреться не могла на эту прелестную девушку, с гладко причесанной головкой, которую, казалось, оттягивали назад две туго заплетенные косы. Нет, бабушкины купцы были какие-то другие, и мне хотелось верить, что никакие они не «кровопийцы».

Мы уважали павловскую бабушку, хотя и любили меньше, чем остроженскую. Уважали за преданность нашему отцу, за доброе отношение к нашей матери, уж ее-то никак нельзя было назвать злой свекровью. Уважали за трудолюбие, за нелегко прожитую жизнь. Умерла она в 1922 году у тетки Анны, к которой поехала погостить.

Остроженская бабушка умерла в 1925 году, в год моего поступления в университет. Умерла она зимней ночью от приступа стенокардии, о которой никто не подозревал, как, впрочем, и она сама. Схватит ее, бывало, в приступе очередном, она примет порошок аспирина

(единственное лекарство, которым она лечилась от всех болезней), закутается, лежа в постели, с головой и, проспав с часок, встает, как ни в чем не бывало.

На ночь бабушка обычно оставалась одна в холодном нижнем этаже, где в сильные морозы даже углы промерзали. И мама до самой своей смерти не могла себе простить, что не было ее возле матери в ее последний, смертный час...

## Глава 4. Родители

Шести лет отец пошел в начальную земскую школу, но окончил ее только в двенадцать. Каждый год он получал похвальную грамоту и оставался на второй год. Оказывается, по существующим тогда правилам, не полагалось выпускать учеников из школы раньше двенадцати лет. В последний год отец уже нередко замещал отлучившегося из класса учителя. В классе сидели великовозрастные второгодники. Но они беспрекословно слушались отца.

Может быть, это раннее приобщение к учительскому делу и послужило толчком к тому, что после окончания церковно-приходской школы, где отец учился по два года в четвертом и пятом классах, он поступил в учительскую семинарию. Всю жизнь он сожалел, что не довелось ему поучиться в университете. В Перми в то время университета не было, открыт он был лишь в 1916 году, как отделение Петербургского. Зато как же горд и счастлив он был, когда его дети стали учиться в университете. Помогать нам на свою учительскую заработанную плату при большой семье он не мог, мы учились на стипендии. Но отец, как и в детстве, продолжал внушать нам, что образование – великое благо, и как бы не было трудно материально, мы должны учиться и учиться.

– Пусть у вас останется одна рубашка – важнее, чтобы вы стали образованными людьми!

Слова об «одной рубашке» были, конечно, преувеличением. Но, понимая, что нам, молодым девушкам, хотелось одеться получше, отец боялся, как бы это желание не взяло верх над главным делом – учебой.

– Что толку из того, что у девиц Солодовниковых (Солодовниковы были нашими соседями и жили в обитом железом доме) сундуки горбятся от приданого, когда они еле-еле по складам читают! – говорил отец.

Да, у нас сундуков не было. Но один сундук все же был, а именно у остроженской бабушки и оттуда, когда мы заневестились, мама порой извлекала какую-нибудь широченную юбку, из которой нам с сестрой выкраивалось по платью. Время было трудное, в семье кроме нас подрастали младшие дети, которых тоже надо было одеть, обуть, так что мы не были избалованы.

Помню, когда я поехала в университет, мама дала мне папину белую рубашку, косоворотку, которая была сшита ему еще в молодости, но оказалась мала. Эта белая рубашка и черная полудлинная юбка составили прекрасный, как теперь сказали бы, «ансамбль», и я была счастлива. Достаточно было мне перед походом в театр выстирать эту рубашку (будучи из репса она хорошо стиралась), выгладить, как я чувствовала себя в ней преотлично. В самом деле, сочетание молодости, свежести, чистоты, румяных щек и счастливой улыбки стоили, пожалуй, самого дорогого платья. В театр мы бегали по студенческим абонеентам, сидели веселой стайкой на галерке. Не смущало нас то, что сцена с нее казалась маленькой и не всегда можно было понять, о чем поют артисты, размахивая руками, зато, много лет спустя, мы с гордостью могли сказать, что слышали самого Козловского, который начинал петь в Пермском оперном театре.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.